



Надежда Нелидова

12 часиков

Надежда Нелидова

12 часиков

«Издательские решения»

Нелидова Н.

12 часиков / Н. Нелидова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966702-1

Просто — про моих домашних питомцев. Про тех, кто от носа до кончика хвоста зависит от человека. Про кошек и собак, котят и щенят — к которым, вопреки Божьей заповеди, прикипаем душой больше, чем к людям. Про птиц, которые селятся у нашего дома и тоже становятся родными. Про быков и коз, от которых приходится удирать. И даже про... лягушек. Для тех, кто любит животных.

ISBN 978-5-44-966702-1

© Нелидова Н.
© Издательские решения

Содержание

12 ЧАСИКОВ	6
АЛТУХИНЫ ИЗ АЛТУХИНА	12
СОЛОВЬИНАЯ РОЩА	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

12 часиков

Надежда Нелидова

© Надежда Нелидова, 2019

ISBN 978-5-4496-6702-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

12 ЧАСИКОВ

Детство – замечательная штука. Хотя бы потому, что целыми днями можешь носиться по улице и не бояться, что облепят веснушки и обгорит нос. И не надо носить шляпы и козырьки, наклеивать на нос наклюнявленный подорожник, мазаться отбеливающим кремом и постоянно заслоняться ладонью от солнца. Потому что начинаешь, к несчастью, понимать, что красный нос, да ещё курносый – ужасно некрасиво.

И не надо помнить о том, как бы сесть на скамейку, не измяв сарафан. И испытывать навязчивый страх, что растолстеешь от сладкого. Как раз только и мечтаешь, чтобы тебе перепало это сладкое, и можешь съесть его сто килограмм, а потом ещё сто килограмм – и всё равно не растолстеешь и останешься худышкой с тоненькими острыми ручками и ножками.

Вообще, детство – самая непосредственная, нелицемерная и неиспорченная пора в жизни человека. Всё остальное ещё предстоит.

Улица, где жила Еленка, была самая тихая и зелёная в деревне, на ней паслись только гуси и козы. Появление грохочущего бульдозера или фырчащего автомобиля было событием. Еленка с друзьями бросали свои игры или работу в огородах и бежали стремглав за машиной, пыля ногами, как ребятишки двадцатых годов прошлого века за первым трактором.

Ещё на Еленкиной улице росло видимо-невидимо черёмух. В пору созревания ягод вся компания забиралась на корявые стволы и наедалась до отвала. У всех рты сначала бурели, потом синели. Языки и нёбо становились шершавыми, будто порастали мохнатой шёрсткой.

В Еленкином детстве было две жгучие мечты, которым не суждено было осуществиться. Первая самая обычная: ей хотелось хоть один раз наестся мороженым, сколько хочешь. И чтобы есть его твёрдым и холодным, а не подтаявшим из блюдечка, как велит мама.

Мороженое привозили из города два раза за лето – это было сенсацией. Еленка с братом торопили маму, которая никак не могла найти мелочь. И когда бежали со всех ног к фургону, Еленка ревела от нетерпения и страха, что мороженое кончится.

Ещё Еленке очень хотелось иметь собственного домашнего ослика. Как бы она с ним дружила! Эта мечта появилась после того, как отец прочитал им с братом книжку Ольги Перовской «Ребятам о зверятах».

ПАПА.

Семья уехала из города, когда Еленке было пять лет, а брату Федюшке шёл четвёртый. Папа стал ходить в смешной клетчатой рубашке и приплюснутой кепке с пуговкой. И рубашка, и кепка ему совершенно не шли. Он купил брошюру о ведении приусадебного хозяйства, изучил и стал претворять изученное в жизнь.

Осенью они с мамой чистили двор, таскали на носилках в огород свежий древесный мусор, щепки, стружки, растаскивали их граблями по полю. Еленка с братом тоже бегали взад и вперёд с зажатыми в грязных озябших ручонках прутиками. Отец объяснял маме:

– В результате перепашки к весне всё это превратится в перегной. Таким образом, надобность удобрять огород отпадает.

Впрочем, удобрять огород всё равно было нечем.

Весной, когда сошёл снег, и поле пахали и боронили, мусор, не подумавший за зиму сгнить, мешал и сильно забивал борону. Колхозный конюх ругался, что они испортили землю. Папа покашливал, ходил следом и собирал щепки в ведро. Еленка с Федюшкой бегали взад и вперёд с зажатыми в грязных ручонках прутиками.

Потом папа прочитал из книжки об устройстве погреба-ледника и начал рыть под крыльцом яму и обкладывать её кирпичом. Еленка с братом носили в игрушечных ведёрках мокрую красную глину и вываливали у забора.

Весной за одну ночь яма наполнилась доверху талой водой. Картошка и мясо плавали, мама вылавливала и ругалась.

Прошло некоторое время, и папа задумал поставить во дворе колонку, чтобы была своя вода. Пришли двое хмурых мужиков в рыжих телогрейках. Папа старался выглядеть перед ними «своим», «бывалым». Не снимал, как они, грязные сапоги, пропустил на кухне по маленькой, громко топал ногами.

Мужики долго ковыряли землю шутоввиной, похожей на огромное сверло: «искали пласт». Нашли, водрузили колонку с носиком, как у чайника. Взяли деньги, пропустили ещё по маленькой – и ушли, топя ногами, оставляя на полу печатные глиняные квадратики от сапог.

Папа лежал за занавеской: он никогда не пил и чувствовал себя скверно.

Сколько ни подпрыгивали Еленка, Федюшка и мама, сколько ни нажимали на ручку, колонка утробно урчала и неприлично ухала, но выдавила лишь несколько ржавых капель.

О ФЕДЮШКЕ.

Федюшке в раннем детстве не везло – жизнь подстраивала ему всякие каверзы.

Как-то папа его фотографировал. На шкаф повесил простыню и придавил сверху литой гирькой от настенных часов, в форме шишки. Федюшка был поставлен у шкафа с наказом стоять не шелохнувшись, смотреть в объектив и не моргать. И если непоседливый Федюшка справится с этой нелёгкой задачей, то на счёт «раз, два, три» – из чёрной блестящей дырочки вылетит птичка. Это пообещал папа, а папа никогда не врал.

Федюшка добросовестно таращил глазёнки. На счёт «раз-два-три» со шкафа сорвалась чугунная шишка и остриём ткнула его по голове. У него до сих пор осталась вмятинка на затылке. Ещё Федюшку щипал соседский гусак, кусала за ногу собака, чуть не до смерти жалили колхозные пчёлы...

Теперь Фёдор профессор, преподаёт в большом институте. Когда приезжает в гости к Еленке, она целует его, охватывает седую голову и нащупывает едва заметную неровность. И брат растроганно басит: «Тут, тут моя шишечка, куда денется».

О НОЧНЫХ СТРАХАХ.

Еленкины родители работали в школе учителями. Тогда школьников часто отправляли на полевые работы. Иногда мама брала Еленку с собой. Запомнилось: колючие тяжёленькие косички колосьев, обочина дороги, синяя от васильков. Мамины ученицы плетут для Еленки венки, сюсюкают над ней, спорят, кому нести её на руках, когда Еленка устаёт.

Один выдающийся случай, как ни странно, совершенно стёрся из её памяти. Его снова и снова взволнованно рассказывала мама, и Еленка не верила:

– Это, правда, было? И я была там?!

Школьники пололи то ли капусту, то ли свёклу. На соседних лугах паслось стадо коров. Пастух гарцевал на лошади – значит, в стаде был бык. Мальчик-горнист заиграл, созывая детей на обед. С лугов не замедлил раздаться ответный рёв. Мальчик уже нарочно, чтобы подразнить быка, заиграл громче. Утробный рёв приближался. Все кричали горнисту, чтобы он замолчал, а вредный мальчишка продолжал выдувать резкие звуки. А ещё, между прочим, пионер.

Вот уже затрещали деревья.

– Не держитесь в куче! Разбежались – и в лес! Все в лес! – кричала мама, таща Еленку за руку. Разновозрастная разноцветная ватага с плачем и визгом бросилась прочь с поля, крики ещё больше разъярили быка. Догоняя, он не мог наметить жертву: все рассыпались, как велела мама, и огромный красный бык бестолково, с задраным пружиной хвостом, носился то туда, то сюда: тут же его отвлекало другое удирающее яркое пятнышко.

Мама с Еленкой отстали. Ученики уже мелькали между больших деревьев, а они всё бежали в прозрачном мелком березняке и оставались единственной мишенью для быка. Мама, по её словам, уже не соображала, её ли тяжёлое дыхание или шумное сопение быка отдаётся в ушах, от её ли бега или от бычьего топота дрожит земля и оглушительно трещит березняк...

Когда она буквально падала с ног, слышались ругань и хлопки-выстрелы бича: пастух отогнал бычару.

Долго, почти всё детство потом Еленку преследовал страшный сон: она с девочками играет на улице и вдруг в конце улицы появляется большой красный бык. Все куда-то деваются, остаётся одна Еленка. Она бежит по пустынной улице – бык не отстаёт. Вбегаёт в дом, захлопывает дверь, бык проламывает рогами дверь – и за ней. Еленка прячется в шкафу – бык суёт вслед тупую морду и пытается забраться внутрь. Еленка карабкается на крышу – следом лезет бык... Ужас!

Еленка просыпалась и кричала. Её забирали в родительскую кровать, и папа сонно ворчал на маму: «Вбила ребёнку в голову ужасы. Так и до невроза недалеко...»

Когда в продаже появились сонники, Еленка прочитала: снится красный бык – значит, кто-то очень зол на тебя, ругает. Странно: бык снился, когда ругать-то её маленькую было некому и не за что. А когда выросла, и очень даже появилось, кому и за что ругать – тут и бык перестал сниться.

О ЖИВОТНЫХ.

О собачонке. Разумеется, его звали Шариком – тогда по телевизору шёл фильм «Четыре танкиста и собака». Собачонок был беспороден и толст. Когда его ругали за провинность, он наклонял вбок огромную башку и смотрел, моргая умильно и преданно.

Однажды Шарик отважился и затявкали на соседскую девочку Наташку. Еленка с Федюшкой убеждали её, что если Шарик рассердится, запросто может укусить. Наташка презрительно и недоверчиво слушала.

Она вдруг топнула крепкой толстой ногой и побежала прямо на Шарика. Он умолк и помчался с поджатым хвостом прочь. Наташка не отставала, преследовала, пыхтя, толстые щёки у неё тряслись. Шарик дал три позорных круга вокруг поленницы и юркнул под сарай. Федюшка рыдал от стыда и жалости к Шарикю.

Шарика могло обидеть любое существо. Даже куры с нахальным «ко-ко-ко» бродили и находили, что клевать именно под его носом.

Особенно терпел Шарик от нашей безымянной кошки: старой, худой и всегда подозрительно глядящей на всех. Если Еленка наливала Шарикю супу, кошка спускалась с крыльца и неторопливо шествовала к собачьей миске. Шарик жалобно моргал коричневыми медведиковыми глазками и плёлся под сарай.

На второй год жизни в деревне мама, как все деревенские женщины, стала держать поросят. С каждым поросёнком Еленка с братом дружили, каждому давали смешное имя, рвали за огородом траву и ходили смотреть, как мама его кормит.

В первые ноябрьские праздники пришли соседи Пётр Макарович с женой тётёй Галей. Он долго сидел на кухне и точил принесённые с собой узкие и длинные ножи. Тётя Галя объясняла

маме, как готовить кровянку, не пересушить жареную печёнку и какие вкуснейшие пирожки можно приготовить из промытых и прочищенных кишок.

Когда взрослые вышли во двор, Еленка стала искать маму. Она обнаружила её спрятавшейся за печкой, с красными глазами, с залитым слезами лицом. Она смущённо объяснила: «Я его вот таким... Вот таким в дом принесла», – и показывала, будто держала в руках закутанного куклёнка.

О СМЕРТИ.

Раз в год в погожий летний денёк на пороге Еленкиного дома появлялась крошечная иссохшая старушечка с палочкой, в чёрной юбке до пола. Мамина троюродная прабабушка. Она была такая старая, такая старая... Еленка даже не могла представить, как давно родилась баба Лиза. Возможно, в те ещё времена, где, как на маминой цветной деревянной шкатулке, румяный Иван-Царевич ловит Жар-птицу.

Чем бы мама в это время ни занималась, она тотчас бросала все дела. Удивлённо и радостно всплёскивала руками, спрашивала, как бабушка Лиза до них добралась. Приставляла палочку к стене, вела под руку игрушечную гостью к столу. Заваривала чай, крошила мягкие баранки в блюдо, накладывала варенья и мёд.

И они говорили-говорили-говорили и не могли наговориться досыта. Еленка во все глаза смотрела на гостью с прозрачными ручками, с прозрачным, с копеечку, личиком. Баба Лиза была такая старая, что даже молодая: морщинки у неё давно усохли, втянулись, измельчились и расправились, превратились в едва заметную паутинку. Кожица от старости была как плёночка под яичной скорлупкой.

Ещё у бабы Лизы были серёжки... Ой, какие! Никогда, никогда потом в жизни Еленка не видела таких ярких пронзительно-синих прозрачных камушков. Хрустально-чистые, рассыпающиеся искры, горящие сгустками небесной синевы огоньки...

Конечно, в дешёвенькие медные оправы были вдеты не сапфиры, не бирюза и вообще никакие не драгоценности. Это было старинное цветное стекло, секрет производства которого растаял тысячу лет назад, когда баба Лиза была молодой. Еленка бережно трогала синие капелюшечки, гладила безжизненные истончившиеся уши бабы Лизы. Если бы она догадалась, как хочется Еленке поносить такие серёжки... Ну, или хотя бы только чтобы вынула из ушек и дала поиграть.

– Вросли в мяско, – шамкала старушка. – Как дедушко вдел – так не снимала. Ни в роды, ни в баню...

Мама с гостьей разговаривали о неинтересном: кто умер, кто болеет, кто женился. Только однажды баба Лиза поведала жуткую историю. Глядя Еленку по волосам невесомой ручкой, шелестела:

– Вот такая же девочка беленька у нас жила... Люба. Ён жила-жила, и померла.

– Как померла?! – мама суеверно вытащила Еленку из-под старушечьей лапки, прижала к себе.

– А кто ён знает. Померла. Гробик поставили в церкву. Утром звонарь восходит в церкву. Крышка у гробика прибрана, а Люба у двери лежит, личиком вниз. Ён ожила ночью и возилась, стучала, выйти хотела. Поп рядом жил. Услыхал возню, взошёл. Любу задушил.

Брат Федюшка в ужасе хлопал ресницами. Интересовался, посадили ли попа в тюрьму и сколько лет он там просидел. Баба Лиза слабо пугалась, отмахивалась:

– Что ты, что ты. Не Любу ведь он задушил – сотону.

А у Еленки на долгие годы остался страх: вдруг она, как бедняжка Люба, уснёт летаргическим сном? Ночью залезала под одеяло и воображала, что это её заживо закопали. Задыха-

лась, взбрыкивала, судорожно путаясь, отбрасывала как назло цепляющееся душное одеяло – и долго лежала с бьющимся сердцем.

Наутро на всякий случай написала на бумажке: «Не хороните меня, пожалуйста. Это я только заснула летаргическим сном». Бумажку свернула трубочкой, вдела в нитку. Федюшка, встав на цыпочки, подвесил ей на шею этот «медальон», провисевший ровно до первой бани. А потом и страхи забылись.

Однажды мама надолго ушла куда-то. Вернувшись, сказала: «Умерла бабушка Лиза».

– Её закопали?

– Конечно.

Еленка долго ходила, сдвинув бровки, раздумывала. Уточнила:

– А серёжки сняли?

– Нет, конечно!

Ужас! Еленка представила картину: глубоко-глубоко под землёй во тьме, в наглухо заколоченном ящике невидимо, неугасимо горят, сами в себе, живые синие огоньки...

ОБ ИГРАХ.

Ну что ещё было... Пионерские лагеря, где Еленка, тоскуя по дому, по маме с папой, рыдала первые дни заезда. Потом выяснялось, что ничего, жить можно.

Были девчачьи альбомы-песенники, которые путешествовали по подружкам («Лети с приветом, вернись с ответом»). И возвращались с неперемнным: «Ветка сирени упала на грудь, милая Лена, меня не забудь!» Ещё: «Умри, но не дай поцелуя без любви!» Или: «Любовь – это зубная боль в сердце!» Или ещё с чем-нибудь таким же волнующим и мудрым.

Были «секретки» и «обманчики». Допустим, страница в альбоме хитроумно свёрнута в конверт, на котором начертано: «Мой друг, сюда нельзя!» Естественно, разворачиваешь его, а внутри конверт поменьше: «Сюда ни в коем случае нельзя!!»

И, как матрёшки, следом ещё раскрываются многочисленные накрученные конвертики с зазывным: «Нельзя!!» «Мой друг, сюда нельзя!!!» «Ай-яй-яй!!!!» Чем больше восклицательных знаков, тем нетерпеливее, разрывая конверты, трепещут пальчики в ожидании тайного, запретного, сладкого. И в конце – как щелчок по носу, торжествующая, жирно накорябанная начинка на дне «секретика»:

«Мой друг, какая ты свинья!

Ведь было сказано: нельзя!»

В альбомы полагалось наклеивать вырезанных красивых тётенок из журналов «Крестьянка», «Работница» и «Здоровье» (снова от мамы влетит!) В «Работнице», кажется, Еленка позже прочитает, что девчачьи альбомы – рассадник пошлости и безвкусицы. Какие советские жёны и матери вырастут из этих маленьких мещанок, возмущался журнал.

Интересно, что бы сказала журнал об игре «12 часиков» – вот уж где девчонки всю раскрывались как отъявленные барахольщицы и тряпичницы – куда до них нынешним обладательницам Барби с их шопингами и гардеробами!

Вообще, игры были самые разные: вышибалы, цепи кованые, прятки, жмурки, «свеча» (что-то вроде казаков-разбойников). Прыганье в «классики», толкание ножкой вазелиновой коробочки, туго набитой песком.

Но «12 часиков» – сугубо девчоночья незамысловатая игра. На каждой улице обязательно имелось отполированное от частого сидения удобное брёвнышко. Две «водящие» отходят и шёпотом задумывают число от «1» до «12». Девочки по очереди отгадывают – мимо, мимо. И вот звучит заветная цифра, допустим, «четыре». Водящие хором: «Один часик, два часика, три часика, четыре часика!» – причём тараторят очень быстро.

Ошарашенная отгадчица до того, как «пробьёт» последний четвёртый час, должна назвать часть гардероба. Сначала, конечно, идёт купальник – ведь участницы игры сидят совершенно, неприлично «раздетые»!

Каждая водящая придумывает и предлагает свой вариант («Голубой купальник с розочкой и каёмками вот тут и тут» – или «Чёрный, с белой чайкой на груди, как у Аньки» – «Конечно, как у Аньки!») Девочка, «продавшая» купальник с чайкой, и счастливая покупательница уходят загадывать следующее число.

Потом пойдут платья (серебряное, в кружевах, до полу), туфли (золотые), пальто... И вот уже кто-то сидит упакованная от и до, кто-то совершенно голенькая – кому как везёт. Всё как в жизни.

Отгорают летний закат, темнеет. Уютно зажигаются фонари и окна домов. Всё чаще слышны размазывающие комаров звонкие шлепки по исцарапанным рукам и ногам... А фантазии всё неистощимей и невероятней, и нет сил прервать этот чудесный бал одёжек, о которых мечтают девчонки в выгоревших застиранных ситцевых сарафанчиках и стоптанных сандаликах...

Вот и мама вышла, зовёт спать. Едва Еленкина голова коснётся подушки, пёстрым вихрем закрутятся в ней бидоны с нагретой земляникой, омут с бьющими со дна ледяными родниками, Наташка, смутные очертания тупой бычьей морды (снова не догнал!), туфельки, купальник...

Чайка на купальнике гортанно расхохоталась: «Цепи кованые, разомкнитесь!» Сильные Колькины руки, прерывающие Еленкин бег: «Попалась!» – «Пусти, дурак!» Сладкой зубной болью кольнуло сердце... И снова туфельки, туфельки, серебряные платья – и стремительно истекающий волшебный двенадцатый часик.

АЛТУХИНЫ ИЗ АЛТУХИНА

Над Ксенией нынче сжалилась малина. Смилоствилась, дала передышку: поспела не враз, авралью – а степенно, частями. А то в прежние годы хоть караул кричи, бегаешь как угорелая с вёдрами. Не успеешь надоить, перебрать, обработать – созревшая уже осыпается.

Ту в варенье, ту в толчёнку, ту морозить (городская сноха подарила морозилку: будто бы 70 процентов витаминов сохраняется!). Битые, с червоточинкой, ягоды – сушить в русской печи, спасаться от хворей. Ах, кабы нашлась чудо-ягода, могущая спасти от Ксениной хвори!

А смородина, а вишня, а крыжовник?! А картошка-скороспелка уже ботву съела? А маслята-рыжики полезли в логах?

Хорошо, муж нынче вышел на пенсию. Скотину, птицу и пчёл, печь и дрова, варево взял на себя. И всё равно в доме женской руки не хватало. Фёдор всё бегом, всё на бегу. На столе не убрано, сени и двор забиты железом, по двору не пройти из-за куриного помёта.

Ещё напасть – в августе у Ксении день рождения. Всю жизнь она досадовала на папу с мамой: угораздили родить в такое хлопотное, суматошное время. Каждая минутка на счету. Считай, целый день был выдернут, пропал впустую. Изволь бросать все дела, накрывать на стол, созывать гостей – не то люди осудят. Болело сердце.

Нынче какие гости. Все понимают: болеет Ксения. Сыновья, конечно, приедут: «Мам, ты лежи, мы сами». Какое сами. Сноха – модная девочка, брезгливо поковыряется, растерянно опустит слабые руки, не зная за что взяться.

Спасибо, хоть малина нынче сжалилась над Ксениным недугом. С отдыхом надоила полведра, села в тени, задыхаясь и отирая холодный пот.

Лежать в избе хуже. Всю засасывает в серую воронку боли. Хуже болей – мысли, спутавшиеся как овечий колтун. То вдруг привидится себе маленькой беловолосой Ксенькой с подружками, как пасут гусей и чистят песком бельецо на речке. То задумается, как всё пойдёт, что изменится, когда её не будет?

Ничего не изменится. Так же будут плыть облака, сверху пухло взбитые, как матушкины подушки, стороной к земле – ровно, низко срезанные столешницами.

«Степью лазурною, цепью жемчужною... Смилого севера в сторону южную». У Ксеньки всегда по литературе была «пятёрка». Жизнь мелькнула – как будто не было. Под веками повлажнело.

То с заколотившимся сердцем вскинется: вроде кто плачет-зовёт. А это курица опросталась яйцом и разочарованно поёт на солнцепёке.

– Есть будешь? – Фёдор высунулся из окна.

Какое есть, желудок бунтует от одного вида еды. Сделала вид, что сидя задремала, не слышит. Из-под сомкнутых ресниц следила за мужем. Крепкий, справный, красивый мужик, хоть и шесть десятков. Без женщины ему трудно.

А кто сказал, что без женщины? Вон их, сколько, Ксениных однолеток и моложе, одиноко кукуют по избам, требующим мужской руки. Заигрывают глазами, поводят круглыми плечами. О таком как Фёдор, можно только мечтать. Вино не пьёт, табак не курит, работающий, жену жалеет.

Представила, как Фёдор неумело, грубовато ласкает-мнёт чужую податливую, мягкую женскую плоть. Ждала, что ревность куснёт душу, вздыбится. Горько, конечно, а так – стылое равнодушие.

Лишь бы детей не обидели. Не разнесли бы рукавом то, что они как две птицы, по пруту любовно в гнездо натаскали.

Один сын давно семейный, внучатами порадовал. Ой, любила Ксения малышей. С утра – подсолённый ломоть домашнего хлеба и кружку молока в руки – и марш пастись в огород. Они и рады, наедятся, котятами покувыркаются – тут же и уснут.

Старший вот никак не может определиться. Но оба дружные. Младшему родители помогли с квартирой. Старшему сыну, с проданного мёда, накопили на машину – так он на дачу, по магазинам братину маленькую армию возит. Всю Россию вдоль и поперёк изъездили.

До сих пор я брала мёд на рынке у знакомой продавщицы. Съем и иду за новой порцией. До тех пор, пока одна баночка случайно простояла до весны не съеденной. Свежий мёд не думал кристаллизироваться и твердеть, что странно. Душистость выветрилась, появился химический вкус. А после на дне выпал белый вязкий осадок и окаменел.

Продавщица оправдывалась: мол, незнакомая старушка принесла, умоляла продать...

В лаборатории проверили – карамель, патока.

– А как мы отследим? – парировала лаборантка. – Нам на анализ хороший мёд принесут – а фальсифицированный прячут под прилавком.

– Но вы в ответе за всё, что продаётся на территории рынка.

– Как вы себе это представляете? За каждым контролёра поставить? И т. д.

А тут позвонили из соседнего райцентра. Район этот интересен тем, что более трёхсот лет назад здесь, в непроходимых северных лесах, нашли приют от бесовской Никонианской веры старообрядцы.

А меня пригласили на поэтическую презентацию. Вышел в свет сборник местных самодеятельных авторов.

Поехала без энтузиазма. Грустный опыт подсказывал, как всё будет выглядеть. Облупленный клуб, зябко кутаются в шали библиотекариши. На задних полупустых рядах скучают и хихикают согнанные с последних уроков школяры...

Но что это?! На парковке плотно выстроились машины, автобусы и даже вездеходы: добирались из непроходимых уголков района. По всему видно, что для посёлка это – Праздник и Событие.

Со всех сторон к клубу шли и шли принаряженные люди. В зале яблоку негде упасть, принесли ещё стулья. На сцене зажгли свечи. В тот вечер в стенах районного ДК, как птица крыльями, билась человеческая Душа.

Я ростом в деда. Тем гордился.

А тут, шагнув за ней в жильё,

Вдруг, двухметровый, уместился

В слезинке крохотной её.

Это афганец – о встрече с матерью. Потом на сцене девчонка и парень с разноцветными ирокезами выдали рэп.

Мыслями в прошлое ушёл пожилой баянист:

Чтоб унять заболевшую душу,

Взял двухрядку старик за ремни,

Посадил на колени певушу,

Словно девушку в давние дни...

Железнодорожник, всю жизнь проработавший на узловой станции, поделился увиденным:

С тихой грустью курил у вокзала

В полуночную пору старик.

Электричка ушла-отстучала,

И ему показалось на миг:

*Светофор, что малиново-броско,
Одиноко светил вдалеке,
Так же грустно, как он, папироску
Держит в мокрой озябшей руке.*

А я черкала в блокноте и представляла, как в это самое время на границе района, на стылых, звенящих клюквенных болотах, пришёл мужик с тракторного двора. Отмыл руки от солярки, сел у окна. Посмотрел на низкое осеннее солнышко, взял ручку (или включил компьютер) – и полились слова, которые не выразить прозой...

Зрители разошлись, остался актив. Пили чай, мёдом угощал один из авторов. Я уж сто лет, как забыла о вкусе такого мёда, жмурилась, облизывала ложку как ребёнок.

– Это не мёд – это у вас в банке расплавилось само знойное душистое лето. Вы только для себя держите, или на продажу?

Оказалось – и на продажу тоже. Так что, сказал автор, в будущем августе милости просим к нам в Алтухино. Вот так я познакомилась с Фёдором Алтухиным («У нас все Алтухины»).

С Ксенией познакомилась заочно: она лежала в больнице на очередной операции. Вернувшись, старалась не показываться на чужие глаза, тенью ускользала, скрывалась за печью. Там приспособила себе лежанку.

Во время приступов задёргивала занавеску, сжималась комочком, чтобы никто не видел её испитых болью глаз, закушенной зубами простыни.

– Говорит, худая, страшная стала. Не хочет людей пугать, – объяснил Павел. – Да и болезнь такая: не больно к общительности располагает. Раньше ох, болтушка была. Всегда ей говорил: «Когда у тебя, Ксюшка, наконец, язычок сточится?» Невесело усмехнулся: «Накаркал».

Еловые лапы гладят, царапают и хлещут по стёклам. Дорога в Алтухино мягкая, сплошь устлана матами. В смысле, шофёрскими матюками. Ямы да ухабы, ливень накануне прошёл.

– Ну вот, чуть муравейник не своротили!

– А я что, должен был в яму с водой заезжать? Застряли бы по брюхо на всю ночь, – оправдывался муж.

Мы присели, осматривая нанесённый урон. Муравейник – северный, громадный, четырёхметровый холм. Колёса проехали по краю, задели святую святых, «детскую»: посыпались, как продолговатый рис, муравьиные коконы.

Что творится: весь холм ожил, зашевелился, запереливался золотом на вечернем солнце. Все муравьиные силы брошены на ремонт повреждённого участка. Кто-то прячет белые крупинки яиц и запечатывает ходы, кто-то тащит хвоинки для ремонта. Муравьи-солдаты отважно атакуют мои ноги. Приходится их, ноги, уносить.

... – Вчера за полночь домой пришёл – вашего звонка не заметил, – извинился Фёдор. – В четыре утра встаю, в час ночи ложусь.

«Вот таких первыми и раскулачивали в прошлом веке», – подумала я.

Окинула взглядом длинную деревенскую улицу. Есть добротные избы, как у Фёдора. Есть развалюшки, где доживают век колхозницы, вынесшие на плечах тыл. Победу в Великой Отечественной на бабьих плечах вынесшие. В конце улицы пугалом торчит чёрный двухэтажный барак.

– Чёрный – потому что поджигали не раз. И окна тряпьем и картоном заткнуты, – объяснил Фёдор. – Этих деятелей уж лет десять как от электричества отрезали. А они втихаря, воровски кинули провод – чтобы телики по ночам смотреть и электроплитками зимой топиться.

Сейчас барак стоит пустой. Фёдор нехотя рассказывал: «Его обитателям, по программе расселения аварийного жилья, в райцентре выделили квартиры в новостройке. По слухам,

соседние дома стоном застонали. Сутками дым коромыслом, пьянки-гулянки, брань, разборки... Новые квартиры, лоджии, подъезды уже загажены хуже помойки».

– Можно спать по три часа, горбатиться, поднимать дом и хозяйство. А можно всю жизнь пропьянствовать в бараке – и поплёвывая ждать, когда тебя переселят в благоустроенную квартиру. Или мечтать о революции, чтобы под шумок разграбить ближнего соседа, – размышляю я.

Фёдор будто услышал мои мысли:

– А ведь всю нашу семью в пятьдесят шестом выслали в Якутию. Бабушку-дедушку, тётю-дядю, мать-отца. Нас, одиннадцать детей. Дед рассказывал: первое, что сделали – огляделись, поклонились на все четыре стороны, осенили себя крестом двупёрстно. И с Богом начали долбить мёрзлую землю, рыть землянки, утепляться. И выжили! Даже я, годовалый, выжил.

– За что выслали?

– Это надо с Первой Мировой начинать... – Павел держал в руке вилы, но решил сделать передышку, отложил ради разговора. – Деда моего ранили в бою, и он пять лет пробыл в плену у австрияков.

Держали там его в рабочих, хорошо платили. Вернулся не с пустыми руками: привёз крупорушку, маслобойку, швейную машинку «Зингер». Сначала бабушка на ней стрекотала, потом тётя обшивала всю округу. Руки золотые, выдумщица. Из лохмотьев, из заплат ухитрилась компоновать не платья —загляденья.

В колхоз не записывалась: зачем, портнихой зарабатывала в разы больше. В тридцатые и в военное время мастерицу не трогали: жёны партийных работников тоже хотели одеваться модно. Из района, из города к ней приезжали наряжаться.

А при Хрущёве не прокатило. Ах так, не хочешь приближать светлое будущее и поднимать сельское хозяйство?! Ну, и сослали саботажницу, а заодно всю зажиточную родню в вечную мерзлоту.

«А ведь не случись тогда всех этих пертурбаций, – думаю я, – вполне возможно, столица мод из Парижа перекочевала бы в Алтухино. И носил бы сейчас весь мир платья не от Шанель, а от Алтухиной».

– Айда те-ка, что покажу, – обещает Фёдор. Из чулана вынес немаленький потёртый сундук. На нём старинные врезные латунные замочки. Сквозь хорошо сохранившуюся красную краску читаются вырезанные слова с ятями: 1908 год... Полк... Имя, фамилия, отчество, чин владельца...

Внутри – как тогда было принято, – крышка оклеена открытками, вырезками из журналов. В центре Августейшая семья. Портреты храбрых генералов. И тут же женские головки из рекламы «чудесная пудра» и «крема, придающего коже изумительную белизну и бархатистость». Ну, энти мужики, ну охальники: что современные дальнобойщики, облепляющие кабины красотками, что служивые сто лет назад.

Внутри дерево ничуть не потемнело: как будто вчера из-под деревообрабатывающего станка. И лёгонькое, как пластик: Павел вынес сундук под мышкой. Открыл со звоном солдатский уютный, домашний мирок.

– Вот полочка мыльно-рыльная. Здесь солдатики держали помазок, бритву, ремень для правки. Здесь хранили чай-сахар, мешочек с сухарями. Кисет с табаком, иконку, письма с поклонами. Пуговицы, иголки-нитки. Вот потайные ящички для казённых денег.

Ящички до сих пор выдвигаются туда-сюда бесшумно, как по маслу. Боже, куда пропали секреты умельцев, деревянных дел мастеров? Куда пропали сами мастера, что спустя сто лет мы погрязли в третьесортных «мэйд ин чайна»?!

И вот ведь какая любопытная история. Сундук этот, где только ни путешествовал пять лет, ища своего хозяина. И не только не пропал – иголки из него не потерялось! А время было смутное. И посылки с едой в ту голодную пору адресата находили. Настолько честные, порядочные были люди.

А ещё в Фёдоровой пристройке стоит старинная самодельная круглая табуретка. От старости дерево приобрело драгоценный цвет чёрного серебра. Сиденье отполировано, как срез агата. Три изящно, «венски» выгнутых наружу ножки – из обычных суков!

Да тут музей можно открывать! Даже заляпанная старенькая, но крепкая, долблённая из цельного ствола куриная кормушка. Отмыть, отскрести – и под музейное стекло.

В полутьме хлева бессонно топчут овцы. В клетках прядают ушами кролики. За домом – пасека. Припозднившиеся пчелиные трудижки пулями приземляются у летков.

– Знаете, сколько должна вылетать пчела, чтобы собрать одну ложку мёда? Две тысячи раз!

А несколько лет назад приключился пчелиный мор. Двадцать семей враз выкосило. Фёдор лечил, обрабатывал ульи, ставил поилки с лекарственной водичкой. Оставшиеся в живых пчёлы потихоньку выправились. Очистили жилища, вытащили трупики. Захлопотали, наращивая соты. Ожили. Нынче, слава Богу, три роя снял.

– В перестройку-то встрепенулись, завели восемь коров, – продолжает Фёдор. – Но прогорели: корма, налоги. В магазины навезли заграничной молочной диковинки – народ от родного молока отвернулся. Пришлось продать новый фундамент, чтобы рассчитаться.

Потом прогорели в прямом смысле. Барачные жгли сухой бурьян, перекинулось на забор, на баню, а там и на новую избу из бруса: только под крышу подвели.

Рассказывая (в сущности, трагические, драматические вещи), Фёдор покоен. Не всплещивает, не машет руками, не жестикулирует. Кисти тяжело висят вдоль тела: отдыхают, пользуясь случаем. Не суетится лицом, изображая сожаление, горе, изумление, растерянность. Ни один мускул не дрогнет. Простой, ясный умный взгляд: как будто в себя немножко вглядывается.

Скажи ему, что у него иконописное лицо – он страшно удивится. Правильные черты, удлинённый овал, прямой нос. В последнее время выхолощено понятие цвета «синий». Синими называют серо-голубые, с лёгким оттенком голубизны, аквамариновые.

У Павла глаза – как будто на детской палитре капнули воды в густую синюю акварель. «Видели бы вы у Ксении, пока она не заболела. Вот это синие! Облака перед грозой, у-у!».

За стеклом на стене висит семейная фотография, ещё с дедом и бабушкой. Красивые, строгие пожилые и молодые лица. Сыновья как будто смущаются громадного роста и плеч. Молодая женщина с кротким, точно писанным тонкой кистью, ангельским лицом.

– Ксения Алфёрова! – воскликнула я.

– Ксения. Только не Алфёрова, а Алтухина, жена моя.

Всё-таки человеческая порода удивительная вещь. Сохранилась от поколения к поколению, сама сберегла себя в чистоте, передаваясь от отцов к детям, от детей к внукам. Не мешалась кровью – а с кем? В непроходимых-то лесах, в самом что ни на есть медвежьем углу.

Классическая, первозданная, природная красота – та, которую наши звёзды шоу-бизнеса за бешеные деньги суетливо пытаются слепить из скромных внешних данных.

Заказывают небесно-синие линзы для блёклых глаз. Хирургическими ножами правят далёкие от идеалов носы и рты. Ушивают и подтягивают дряблые шеи и овалы лица. Шьют и порют, подгоняют под модные лекала непородистые талии и бёдра. Так Фёдорова тётя в начале прошлого года безжалостно и решительно перелицовывала старое тряпье, чтоб «было красивше».

В полутьме Фёдоровой пристройки стоит новенький разбитый серебристый «Рено Логан». Разбитый страшно: капот в гармошку, будто гигантской рукой безжалостно, играючи

смяли в комок шоколадную фольгу. Кузов вдавлен, снесён почти полностью. Лобовое стекло – в стеклянную пудру.

– Об этой аварии писали в газете – не читали? Сыновья на днях ехали к Ксении на день рождения, да с картошкой помочь. И тут – лось в прыжке, полтонны весом. Животное – на смерть. Старший пришёл в себя, рядом брат без сознания. Выбрался (ещё с дверцы кровь не смыта).

Трасса оживлённая, людей мимо много едет. Видели и сбитого лося, и кровь, и людей без сознания. И никто не то, что не остановился – в полицию и «скорую» не позвонили, – вот тут Фёдор единственный раз скупно проявил эмоции: обескуражено, недоумённо приподнял и опустил плечи.

– Страховку выплатят?

– На случаи с животными страховка не распространяется. Мы должны заплатить штраф сорок тысяч за лося.

И снова в голосе Фёдора – ни сожаления, ни растерянности, ни раздражения. Случилось и случилось. Главное, сыновья живы. Младший до сих пор в больнице с черепно-мозговой.

Как будто кто-то невидимый, поколение за поколением, испытывает алтухинский род на прочность. Напасти сыплются как из дырявого мешка. Ссылка, разорение, пожар. Страшная болезнь Ксении, пчелиный мор, и вот авария...

Возвращаемся поздно. Место с муравейником объезжаем с другой стороны. Не утерпели, вылезли посмотреть. Муравейник практически принял прежнюю коническую форму. Раны зализаны, ходы запечатаны, мелкие обитатели отдыхают в своих норках, набираются сил перед долгим днём.

– Вот только не надо проводить параллель, – морщится муж. – Получится выпренно, слащаво, шито белыми нитками.

А я и не собиралась ничего проводить. Просто написала как есть. Муравейник и муравейник.

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА

В детстве я приставала к взрослым: как поёт соловей да как поёт соловей? И когда мне однажды сказали: «Слышишь? Вот это и есть соловей» – я была страшно разочарована. Жиденькое, жалкое щёлк-щёлк. Цвирк-цвирк-цвирк. Тр-р-р. Фьюить-фьюить! И вот этот примитив восхваляют люди, этому набору бесхитростных звуков посвящают поэмы, стихи, сказки?!

Один только соловей Андерсена чего стоит, заставивший китайского императора плакать, поднявший его со смертного одра. Я-то ожидала божественной, ритмичной, стройной, разрывающей душу мелодии, какого-нибудь концерта виолончели с оркестром.

А тут урлюлю. Тыр-тыр-тыр.

Так было до восьмого класса.

Я готовилась к экзаменам. Ах, первые экзамены, майские жуки на ниточках, тяжёлая, тугая сирень в палисаде (если найти и съесть цветок с пятью лепестками – сдашь всё на «пятёрки»).

Первые школьные влюблённости в учителей. В математика, в преподавателя военного дела, в студента-практиканта...

Любовные тайны поверяла дневнику. Дневник прятала на печке в старом валенке. На каникулы из города приехал двоюродный брат Вовка. Украл дневник, по-обезьяньи гримасничая и показывая язык, вскарабкался на крышу. Комментировал и хохотал.

Я до холода в животе боялась высоты, бегала вокруг дома и верещала от обиды и бессилия. Пыталась выманить сорванца ирисками, стеклянной авторучкой, сборником фантастики. Сулила страшные кары (утащу лестницу, и сиди там до скончания века, нажалуюсь твоей маме, поколочу, убью).

Вовка соскучился. Спустился, сунул мне мятый дневник – выхолощенную, осквернённую, поруганную мёртвую Тайну... Очистить её могло только пламя в печи.

Но я отвлеклась от соловьёв. И вот, значит, все спят. Я потушила лампу, захлопнула учебник, сладко потянулась. Распахнула окно. Огромная ночь дышала талыми водами, влажной землёй, горьковатой черёмуховой свежестью.

Представляете: на сорок километров вокруг ни одного дымящего завода, всё леса, леса. Мы принимали это как должное, дышали чистейшим воздухом, не понимая своего счастья, своего богатства, которое не купим потом в городах ни за какие деньги.

А дом у нас стоял внизу села, в самом конце улицы, у лога. За логом речка, за речкой сосновая, с вкраплениями осин и берёз, рощица.

И вот эта серебряная лунная роща... Она такое вытворяла! Она жила своей бурной ночной жизнью. Со всех сторон одновременно звенела сотнями, а может, тысячами крошечных нежных мощных голосков. Голоски самозабвенно, ликующе заливались, надрывались, щёлкали, трещали, улюлюкали, свистели. Каждый их обладатель старался перещегоолять сам себя. И впрямь шальные соловьи: сошли с ума!

Висел туман, было влажно, заречные соловьиные рулады висели точно над самым ухом. Насидевшись у окошка в полном смятении чувств, я легла, но что толку.

Сколько раз я вскакивала, металась по комнатке. Прижимая руки к груди беспомощно и растерянно, не понимая, что делается со мной и вообще на белом свете. Бормотала: «Господи, да что же такое?!»

Снова высовывалась в окошко, тщетно всматривалась во тьму. И снова всплёскивала руками... И не было рядом наперсницы Сони, чтобы эгоистично будить её, как Наташе Росто-

вой в Отрадном, и делиться сладкой невыносимой мукой, которая, того и гляди, разорвёт заблудшее бедное четырнадцатилетнее сердце.

В общем, ни черта я в ту ночь не выпалась и весь день ходила как пьяная. Так вот что с людьми на всю жизнь делают эти маленькие колдуны.

Сейчас возле нашего городского дома тоже селится пара-тройка соловьёв: как раз наступают черёмуховые холода. Почти снеговой, пронизывающий ветер гнёт у речки деревья. Ледяной дождь барабанит по стеклу. А соловьи самоотверженно и упрямо щёлкают, ведут свою брачную песню.

Ну, соловьи. Ну, щёлкают. И что? Повернёшься в мягкой постели, закутаешься в тёплое одеяло. Охо-хо-нюшки, и охота же кому-то в такую погоду заниматься любовями. Против природы не попрёшь. Как их, малышей, ветром-то не сдует.

Недавно иду в парке, а там у канавки столпотворение. Девчушки с ранцами заворожённо замерли у ливневой решётки. Разглядывают, как невидаль, ручей, падающий в гулкое подземное коммунальное хозяйство. Бросают щепочки, болтают в мутной водичке резиновыми сапогами. «Ух ты, здорово!»

Взять бы учителям и свозить их в весенний лес, показать настоящее половодье с водопадами. Вот честное слово, стоит нескольких уроков литературы и патриотического воспитания. Знаете, что вспоминает моя уехавшая за границу подруга? Русскую бурную, грозную и грязную, безбашенную весну. Там, говорит, и весна какая-то ненастоящая, чистенькая, игрушечная, скороспелка. Ляжешь вечером: зима, откроешь глаза утром: лето.

– А у нас, забыла, весной ступить некуда, – подкалываю я. – Чего только не вытаивает: собачьи какашки, окурки, бутылки, пластик, презервативы и прочие отходы жизнедеятельности человека разумного. А миргородская лужа возле твоего дома? Ливнёвка забита – целый океан, пройти невозможно, ты чертыхалась, каждую весну в ЖЭК писала.

– Ага! – мечтательно, влюблённо подхватывает она. – А утром та лужа замерзала... Идёшь, бывало – ледок под ногами хрустит. И невидимая синичка: «Пинь-пинь!» А заря – как девчонка разалевшаяся. – В трубке всхлипы и сморкание, телефон отключается. И никогда не назовёт она ту, чикагскую зарю, разалевшейся девчонкой.

А у нас на полях ещё лежит могучий и обречённый, насыщенный, пропитанный водой апрельский снег. И вдруг однажды просыпаешься от непрерывного ровного, мощного гула, усиливающегося с каждым часом. Большая вода пошла!

После уроков прыг в сапоги – и с подружками на берег, усыпанный сухими жёлтыми пуговичками мать-и-мачехи. Там с каждой горы несутся, скачут, крутятся в бешеных пенных затоках бурные речки: каждая что твой Терек. Грохот такой, что собственного голоса не слышно. Первая ночная вода уже унесла муть, сломанные ветки, грязную жёлтую пену – и сейчас прозрачна, как после многоступенчатой очистки.

Через неделю большая вода схлынет, оставив полёгшие, как бурые водоросли, травы и множество чистейших лужиц, полных изумрудными комками крупной лягушачьей икры. Вылупятся из мамкиного гнезда колонии лягушат и резво поскачут к речке.

Никакой химии тогда на личных участках хозяева не признавали: лягушки были бесменными санитарами огородов. Сейчас той икрой и головастиками лакомятся прожорливые горластые чайки.

Давятся, не могут проглотить, из хищных крючковатых пастей свисают лохмотья живой зелёной слизи. А маленькие злобные глазки уже высматривают следующую порцию. Ужасно вредная, мерзкая, сварливая, хабалистая, помоечная птица. Совершенно не вписывается в тихие серенькие среднерусские пейзажи.

Кстати, в наших местах чаек, как и колорадских жуков, отродясь не водилось. Как ни странно, их полчища появились аккурат вместе с перестройкой. Такие, знаете, прилетели и приползли гонцы грядущих перемен.

...А вот с этих спящих, толсто укутанных в снежные одеяла гор мы катались всего-то месяц назад. Был морозец, я разгорячилась, мне было весело и тепло. А у брата-близнеца Серёжки, нырнувшего с лыжами в сугроб, зуб не попадал на зуб.

И тогда я решительно стянула с его заочечневших рук варежки и дала взамен свои: мягкие, нагретые, дышащие теплом. Во что были превращены Серёжкины рукавицы! Заскорузлые, насквозь промокшие и схваченные льдом, жестяные – хоть молотком отбивай. С трудом втиснула туда свои пальцы, вмиг окочечневшие...

Но как же мне было славно и хорошо! Я представляла, как у Серёжки отогреваются руки, как им мягко и уютно в моих горячих рукавичках. И всё забегала вперёд, то с одной стороны, то с другой. Приседала как собачка, заглядывала в его лицо и счастливо повторяла:

– Тебе, правда, тепло? Ты ведь согрелся?

Совершенно не замечая, что сама не чувствую своих рук. Он, дурачок, отворачивался, и от серых глаз к носу у него вдруг протянулась дорожка из слёз. «Ты чего, Серёжка?!» И сама вдруг хлюпнула носом, из глаз брызнули сладкие слёзы...

В общем, когда я читала толстовского «Хозяина и работника», я очень хорошо понимала хозяина. Который своим телом укрыл работника и, замерзая и умирая, был восторжен и счастлив.

*Когда сырым апрельским днём
Запахнет в воздухе весной,
Когда на вербах бугорки
Глазочки серые откроют.*

*Когда хрусталь сосулек враз
Заплачет звонкою капелью,
Когда поймаешь на себе
Ладони тёплые апреля.*

*Когда горластые ручьи
В безмолвье снежное ворвутся,
И сотни этих ручейков
В один большой поток вольются,*

*Когда весь этот шум и гам
Ворвётся в день твой, пусть ненастный,
Ты вдруг, зажмурившись, поймёшь,
Поймёшь, как жизнь твоя...*

– Ужасна!

– Опасна!

– Колбасна! Гы-ы! —

глумливо подсказывают, соревнуются в рифмоплётстве двоечники с задних парт. Художника обидеть может каждый. Особенно если художнику девять лет и его безжалостно выставили перед классом читать свои стихи.

А почему бы, когда подсохнут дороги, не закатиться по местам детства? Не за тысячи километров живём – почти рядом. Ох, и окунусь, ох и очищусь душой, и поностальгирую досыта. В дороге извертелась, мухой прожужжала мужу уши: «А вот здесь мы...» «А если сюда свернуть...» «А вон там, представляешь...»

Вот и родные ложбинки, и наслаивающиеся друг на друга пирожками холмы. Там мы вволю нагуляемся, и я вдоволь пожужжу как муха.

При въезде в село нас гостеприимно встречают... выстрелы. На солнечном пригорке, как цыплята, расположилась кучка мужиков за скатертью-самобранкой. Среди бела дня, здоровые молодые мужики.

Вахтовики, наверно, – нынче это самая престижная работа в деревне. Это не коровам хвосты крутить, не в навозе за копейки рыться. Слетали на прииски, покачали из матушки-Земли природные ископаемые, срубили бабла – и месяц расслабляйся.

Вот и расслабляются. Пристреливают ружьишки. Браконьерство – второе престижное, почти аристократическое занятие в деревне.

В десятках метрах от стрелков катятся редкие машины. Идёт бабушка с сумкой, две молодые мамы катят коляски. За мостом больница, дорога довольно оживлённая.

Мужики ржут, громко перекидываются ёмким словцом. Лениво пуляют куда придётся: в деревья, в небо, в кусты. В лесок, где мы собираемся бродить, ностальгировать и испытывать катарсис. Как-то не хочется вступать в диалог с вооружёнными поддатыми людьми: «Мужики, вы поаккуратнее тут». Вряд ли он получится миролюбивым, диалог.

И я стучу самым обыкновенным образом: набираю 112. Сообщаю координаты. Там слегка удивлены, и обещают прислать людей.

А пока мы на глазок прикидываем расстояние, где, по нашим расчётам, не послужим живыми мишенями, и углубляемся в соловьиную рощу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.